

9.VII.26.

Горячо благодарю тебя за письмо. Вчера я писал тебе в совершенном горе по поводу твоего молчания, хотя и смутно верил, что письма встретятся. Кажется, я успел эту веру высказать.

Я очень изменился за последний год. Я стал серьезнее и сосредоточеннее. Я часто говорю и пишу глупости под влиянием минуты, то есть от этого недостатка я еще не избавился, но может быть, когда-нибудь справлюсь и с ним. Я стал цельнее и проще. С ужасной ясностью оформилась во мне потребность в настоящем большом чувстве ко мне, не производном, а самостоятельном, не ответном на мое собственное, а живущем рядом с моим и ведущем свою собственную историю, широкую и великодушную, не считающую из моих любующихся глаз, а побеждающую, идущую наперекор мне.

Главная тема года, с особой горечью вставшая сейчас среди тишины и одиночества, вновь подтвержденная в разлуке с тобой твоим молчанием и потом твоим письмом, это тяжесть сознания, что не а д о стараться разлюбить тебя, что рано или поздно этому придется научиться. Так как причины этой роковой, похоронной, непоправимой н а д о б н о с т и — в тебе самой, как в человеке, то объяснять это т е б е совсем излишне. Ты знаешь, о чем я говорю. Я горячо люблю твой женский облик, который иногда на моменты поворачивался ко мне за обожаем, за принятием ласки. Я страшно привязан к тебе. Я высоко ставлю твой нравственный облик (ум, волю, характер), все время повернутый ко мне спиной. Он стоит ко мне спиной оттого, что дух требует самопожертвования по своей природе, для того чтобы быть кому-нибудь собищенным. А это твой слабый пункт, по крайней мере в отношении меня: тебе кажется, что самопожертвование тебя бы уронило, было бы твоей ли прелести, гордости ли, или свободе в ущерб. Эту постоянную ошибку в вину тебе ставить нельзя. Ты душевно здоровый человек, и эта ошибка случайна и самой тебе в тягость: этой ошибки не было бы, не могло бы существовать, если бы ты меня любила. Когда ты по-настоящему кого-нибудь любишь, ты поставишь себе за счастье обогнать его в чувстве, изумлять, превосходить и опережать. Тебе тогда не только не придет в голову мелочно меряться с ним теплом и преданностью, а ты даже восстанешь на такой образ жизни, если бы он был тебе предложен, как на ограничение твоего счастья. Что я не этот человек, я увидел очень скоро. Я больше писать не могу. Как ты чудесно заключаешь письмо: «Всею хорошим Женя». Я так не умею. Не пиши мне, что это письмо до тебя не дошло. Наперед знаю. То-то и больно.

Поцелуй крепко Женичку. В тот день, когда я увижу в тебе большого, уверенного в своих с о б с т в е н н ы х силах друга, я напишу мальчику, чтобы ты ему прочла вслух. Замешивать же его в эту нестерпимую бессердечную муть, — отказываюсь. Что я плох, я знаю и слышал. Займись с о б о ю! Пока ты этого не поймешь, добра ждать неоткуда. Все т о л ь к о в твоих руках. Я, если бы и хотел, не в силах сделать того, что природа поручила ж е н щ и н е, ж е н с к о й душе, женскому сердцу.

23.VII.26.

Женя, если ты меня любишь, скажи мне это так, чтобы я прочел, понял и о с у щ и л. Не говори мне, что это трудно: избавь меня от страха, что это невозможно.

Твои счеты жертвы с мучителем смягчают главную тревогу и опасность и не дают видеть п е р в о п р и ч и н ы за цепью вторичных причин. Вот пример, чтобы ты поняла. Должна страдать л ю б я щ а я женщина, которую поработили. Но должна страдать и не любящая, которую сделали госпожой. Пока ты думаешь т о л ь к о о страдании, ни тебе, ни мне не ясно, какой случай наш. И он не должен быть обязательно одним из них. Я о том, что ты должна очистить свое сердце от счетов со мной, чтобы его понять. <...>

Отсутствие чувства страшнее его объяснимости. Обнаруживая его, я перестаю слышать объяснения.

Если ты любишь, и твое чувство велико, доверься мне полностью и без о г о в о р о ч н о. Если его нет, или оно мало и поκειται на условиях, мы расстанемся для твоего и моего блага. Но теперь в последний раз, да или нет, и ты знаешь, какое должно быть да. Я люблю тебя во всех случаях, жизнь же с тобой мыслима только в одном.

Если ты вполне моя, и нам суждена большая жизнь (а ни тебя, ни меня Бог не обидел), то впоследствии, оглянувшись назад

Февральская книжка журнала «Знамя» — парад имен и произведений. Здесь и буковровский лауреат Георгий Владимов с главой из «Генерала и его армии», не вошедшей в основной корпус призовой книги, и дебютант Артем Рондарев с повестью «Беседы о прекрасном», Геннадий Русаков с поэтической подборкой «Разговоры с Богом» и участник программы ООН по балканскому урегулированию Бахтияр Тузмухамедов с «Записками миротворца»... Один из «гвоздей» номера, бесспорно, переписка Бориса Пастернака с его первой женой Евгенией Владимировной, с именем которой и до сих пор связаны домыслы и мифы. Публикуемые впервые, эти письма являют нам ошеломляюще драматичную историю любви поэта. Фрагменты этой публикации «Знамя» представляет в «МН».

Борис Пастернак. Неизвестные письма

на нашу пуганицу, ты когда-нибудь ее оценишь по-другому. Ты увидишь, что и ты вполнину была виновата в ней. Но я об этом сейчас и не заикаюсь. Я не обвиняю тебя не из потребности показаться великодушным или расположить тебя к себе, а по простой логике чувства. Мне не к о г д а осуждать тебя за смыслом, заключающимся в словах: я люблю тебя и нуждаюсь в тебе — сильной, любящей и в е р я щ е й в свою любовь.

Прости мне твердость, с которой я ставлю тебе этот вопрос. Я спрашиваю за двоих, за себя и за тебя. Все что требуется от меня для возможности ответа, сказано тут навсегда и без колебания. Н е п р я м о й ответ от тебя никакой внутренней цены иметь не будет, сколько бы психологической правды он ни заключал. Я обращаюсь от своей мужской воли к твоей женской, а не к твоим хорошим и дурным возможностям от своих. Н е щ а д и у с и л и й, чтобы сосредоточиться на ней, но, сосредоточившись, потом уже себя н е н а с и л у й. Чутье не обманет тебя.

Я сдерживаюсь и не допускаю нежности к тебе. Я ничуть не меньше любил тебя в Таицкие времена. Я только не был тверд. Не бойся ответить прямо. Н е б о й с я новых о б я з а н н о с т е й неиспробованной задушевности и большого уваженья, которые на тебя лягут, если ты любишь меня. Я не раб-владелец, и твоим перерождением не злоупотреблю. Не бойся признаться в малости или отсутствии чувства. Тебе некоторое время будет больно и жалко меня и себя, но я помогу тебе, и вскоре ты отделеешься от вечной неудовлетворенности ложностью своего положения и от мучительной подверженности закону рефлексии: необходимости переживать недовольство собою в виде недовольства другим. Я убежден, что это тяготит тебя. Отвечай же, дорогая. Люблю тебя.

Твой Б.

Не принимай растроганности за настоящее чувство. Настоящее, если оно в тебе проснется, сопровождается мгновенным оздоровлением, радостью, верой в себя и в другого, жаждой здоровья и силы, жадной деятельного благодеяния.

17.IX.26.

Милая, милая, милая! Я столько хотел тебе сказать в сегодняшнем письме! Но там, где лиловые чернила сменились синими, волна эта ушла вглубь. Я совершенно не помню, что вывела моя рука у Сени. Там стало ясно, для чего существуют перегородки и как можно их хотеть. <...>

Я уже писал тебе, что это точно «день фотографии». Вчера Зелинский показал мне книжку Верст*, о которой писала Ломоно-

* Журнал «Верст», издававшийся в Париже, где напечатаны главы из поэмы «1905 год» Пастернака и «Поэма Горы» Цветаевой и их фотографии. Литературный критик Корней Львович Зелинский привез из Парижа номер журнала.



Борис Пастернак, 6 апреля 1931г.



Евгения Пастернак с сыном Женей. 1931г.

сова. Карточка Цветаевой — та, которую ты нашла в столе, моя же — та единственная, прекрасная и правдивая в одно и то же время, которая получилась благодаря вам, тебе и мальчику — из Наппельбаумовской группы. Ты видела всегда злой символ в том, что я ее вырезал для таких надобностей. Я же вижу благой, бесконечно меня перед вами обязующий символ в том, что лишь с вашей нервной поддержкой, лишь в момент той, помнишь, гордой и замкнутой теплоты, которая тогда принадлежала тебе, madonna (= моя госпожа), тебе, моя чудная жена и молодая мать, я единственный раз в жизни вышел полным изображением лучшего в моем существе, то есть так, что неизбежно в этой форме именно останусь.

Моя родная любимая спутница: я не Бог. Я не могу предугадать, в какой именно форме твое достоинство, твое полное дыхание, без боли для тебя, нет, с еще большей игрой и красотой движения и охвата солется, переплетется или еще как-нибудь сдружится с темой Марины, однажды весной в Москве (помнишь, я тебе еще про Суинберна рассказывал) так счастливо и чисто подхваченной тобою, и затем вступившей в жизнь так катастрофически несчастно.

Безобразием была наша жизнь. Тут много причин. Их так много и такого они общего порядка (как мор, война, эпидемия и прочее), тут так много причин, что может быть вины, которую я чувствую за собой (как и ты за собой, вероятно), даже и не так много потом в памяти останется. Безобразьем, говорю, была наша жизнь. Попеременно то тебе, то мне казалось, что это — временная тягость, что мы случайные попутчики, что мы рано или поздно друг от друга избавимся. Нам не надо бояться, друг мой, этих слов и этих воспоминаний. Мы, ты и я порознь, больше тех случайных ролей и состояний, через которые с шорохом и треньем нас тащит наша посвященность. Бросимся головой вниз в ту музыку, которую налитое сознание: мы любим друг друга, мы верим друг другу. Там наше истинное лицо.

В обстановке затягивающейся случайности нашего сосуществования я иногда искажал ту правду по отношению к Марине, которая остается и по сей день, — правду темной, предельной дружбы — дружбы в истории и судьбе, — той дружбы, которая заставила меня движеньем смутного инстинкта столкнуться ее с Рильке — инстинкту того же порядка — и б о я т ь с я, что либо она будет его любить меньше, чем я его боготворю, либо же, что у него с ней произойдет какое-нибудь недоразумение. Моя живая судьба, мой умный, трудный друг ты представить себе не можешь счастья, которое я испытал, лишь только узнал, как идеально горяча эта связь между нами, между их местами в мире.

Да, но я уклонился в сторону. Я говорю, что иногда как о д и н о к и й писал Марине и думал о ней. И вот, как недавно — мы готовы были с тобой расстаться. Ведь это случа-

ется сплошь и рядом, этим пестрит повесть наших дней, люди траура не надевают, друзья не бегают утешать, — о зачем ходить далеко — твоя мать, воплощенная традиция и старовечество, восприняла эту возможность, как очень и очень мыслимую. Это очень распространенная и всеми преодолеваемая трудность. Истекшим же летом у нас с тобой обстоятельства так благоприятствовали разводу, как редко у кого, — то есть просто завидный был случай из этой категории. И вот, если этого не случилось, то должна же была сказаться какая-то сила, которая была богаче и глубже всех этих благоприятствований!

Я не знаю, что привело тебя вновь, совершенно вновь ко мне. Я не скажу и о себе ни слова. Только клятвенно уверяю тебя: ни малейшей доли к о с н о й грусти или б о я з н и с у р о в о й новизны разрыва в составе этой загадочной силы не заключалось. Совершенно как слепой, как к какому-то месту в потемках тянусь я к т о м у, что т е б я удержало со мной. Я кладу руку на эту сердечную шару и готов ощутить под ладонью неизвестное мне тепло и волнение какого-нибудь 1935-го года, — как единственный ключ к прошедшему этим летом, как твое истинное существо, которому дано где-то когда-то сказаться внезапным фактом, уже и сейчас играющим в твоей улыбке. В твоей с д е р ж а н н о с т и.

О, Женя, — вообрази, что с д е р ж а н н о с т ь ю назвали бы готовность и способность человека — (вечно в любви и в прибое творческой воли разбегующегося в п е р е д) — быть телесным наполненным мгновенья, быть жильцом настоящего, то есть тем, что каждый из нас и есть. Так вот, о такой с д е р ж а н н о с т и твоей, придающей твоей судьбе прелесть живой уклончивой недоговоренности, где-то прорывающейся полным раскрытием, я и говорю.

Любушка моя ненаглядная, прости мне эти утомительные строки: в них сказались усталость. Нельзя вибрацией письма заменить поклонения, которое вдруг сгибает голос, падающий к тебе на руки и на колени; нельзя мыслью письма заменить романа, в картинах осуществляющего непонимание романиста. Кроме того, я пишу безбожно быстро и безо всякой оглядки, как нашему брату просто не годится. Ужасно то, что из двух слов «обманщица» и «обманщик» первое (к а к я х о ч у, что б м н е к а з а л о с ь) звучит шаловливо, второе — гнусно. Уже это одно определяет разницу нашего раскаянья. Мне труднее думать о прошлом, чем тебе.

Временами в нас выла совершенная пустота, и либо нас сцепляла досада на себя, друг на друга и на эту пустоту; либо же одолевала, без участия твердой, смелой воли с нашей стороны, та самая сила, которая будет в нас и над нами на Александровском вокзале. Наша искренность, не подержанная д и с ц и п л и н о ю воли, то есть в е р о й, допускала лишь малый диапазон владенья друг другом. При малом диапазоне, с одного взгляда вбок, на божий мир, хотелось многих таких же, то есть многих малых диапазонов, сочетающихся ревностью и именами, — в нашем, конечно, случае.

Воля, вера, — большой абсолютный диапазон, вот что суждено нам в отдалении, если это мне не снится, если мы действительно вместе. И добрая г о т о в н о с т ь к нему — вот тот порыв воздуха, вот тот ветер, в котором ты в поезде летишь ко мне с мальчиком, о мои родные люди, моя кровная история. Мысль, что я обхожу тебя, должна быть л о г и ч е с к и недопустима для тебя. Всякая такая видимость должна тобою приниматься за временную неясность, которая где-то разъяснится, к славе твоей и к радости. И ведь я живу представлением того, что чувствует другой. Только ты не ищи сама страданий. С твоими заблуждениями со спадами диапазона я бы мог только бороться. Борьба же — уже начало зла и хороша только в политической теории, и то как для кого, чаще для одного стада. — Спокойной ночи, записался я и устал, лягу-ка лучше спать.

ЗНАМЯ

Пастернак Борис Леонидович
28.01.-4.02.96